

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=441.2)53-8
С50

С50 **Смерть Андрея Белого (1880–1934).** Сборник статей и материалов: документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 968 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0114-7

Смерть Андрея Белого (8 января 1934 г.) стала знаковым событием для культурного сознания эпохи, вызвала шквал откликов – эмоциональных, аналитических, восторженных, ругательных. Полемика о значении личности и творчества писателя захватила советские газеты и журналы, эмигрантскую и зарубежную печать, нашла отражение в переписке, дневниках, мемуарах современников. Громадный общественный интерес к смерти крупнейшего русского символиста подогревался каскадом политических скандалов, предшествующих его кончине и сопутствующих похоронам. Сами похороны стали апробацией будущего официального канона погребения советских писателей. В книге собраны материалы, как известные, так и публикующиеся впервые (из архивов, частных собраний, периодики). Они дают представление о том, как воспринимался Андрей Белый и о том, в какое время ему было суждено жить и умереть.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2=441.2)53-8

ТРИ ПИСЬМА АНДРЕЯ БЕЛОГО <В.Ф. ХОДАСЕВИЧУ>

Современные записки (Париж).
1934. Кн. 55.

Переписка Андрея Белого со временем будет, конечно, собрана и напечатана полностью. Сейчас мне хотелось бы лишь положить начало этому делу, поделившись с читателями «Современных Записок» тремя документами из числа тех, которые у меня имеются. Каждому из них я предположу несколько пояснительных слов. Сверх того в подстрочных примечаниях я даю несколько мелких пояснений и оговариваю некоторые особенности рукописей, воспроизводимых с сохранением орфографии и пунктуации. В этом последнем обстоятельстве не следует видеть педантизма: поправки, описки, знаки препинания, а порой и орфографические ошибки немало свидетельствуют о душевном состоянии пишущего.

Первое из предлагаемых писем привезено мною из советской России. В ночь с 3 на 4 августа 1921 г. (со вторника на среду) был арестован Гумилев, о чем я узнал поутру¹⁴², а в три часа дня ко мне прибежала поэтесса Надежда Павлович¹⁴³ и сообщила, что у Блока началась агония. В тот же день под вечер мне предстояло ехать в Порховский уезд Псковской губернии¹⁴⁴. Во Пскове мне пришлось двое суток ждать пересадки на Порхов, и я, тревожась о Блоке, написал Белому¹⁴⁵, чтобы он меня известил о ходе болезни. Печатаемое письмо и есть ответ на мой запрос.

Между словами Павлович и сообщением Белого есть некоторые противоречия¹⁴⁶, которых я разрешить не берусь. Павлович сказала мне, что агония началась в среду; Белый пишет, что Блоку особенно плохо стало с понедельника. Возможно, что оба правы, то есть, что уже в понедельник Блоку стало особенно плохо, а полная агония началась со среды. Возможно и то, что Павлович лишь в среду узнала о том, что домашним Блока было известно уже с понедельника. Но можно предположить ошибку со стороны Белого, который гостил в Царском Селе и приехал в Петербург лишь на другой день после смерти Блока; судя по помаркам в письме, Белый даже не знал точно, в какой именно день Блок умер; после некоторых колебаний, он остановился на 8 сентября — и неудачно, потому что это было 7-го.

Второе расхождение заключается в следующем. Белый пишет, что Блок умер в полном сознании. Между тем, Павлович под строгою тайной сообщила мне, что «Блок сошел с ума» (ее точное выражение). Правдивость Павлович не подлежит сомнению. Однако, возможно, во-первых, что перед самой кончиною сознание к Блоку вернулось. Но возможно, что Белому была сообщена лишь «официальная» версия. Наконец, не исключено и то, что Белый знал правду, но не знал, что и я о ней знаю, а потому в письме ко мне изобразил события так, как их хотела представить мать Блока. Впоследствии, при личных свиданиях, мне не случилось говорить с Белым на эту тему.

Слова о том, что Блок «задохся» в воздухе 1921 года¹⁴⁷, впоследствии повторялись многими много раз. Судя по тому, что в письме ко мне это слово сказано уже

через день после смерти Блока, и потому, что не в духе Белого было повторять сказанное другими, — я уверен, что это выражение именно ему первому и принадлежит. Очень вероятно, что на панихидах и на похоронах он не раз это слово повторил (что как раз было в его обычае) — и таким образом оно получило распространение.

1

9 августа 21 года.

Дорогой Владислав Фелицианович,

приехал лишь 8 августа из Царского: (застал Ваше письмо. Отвечаю: — Блока не стало. Он скончался 8* августа в 11 часов утра после сильных мучений: ему особенно плохо стало с понедельника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище.

Да! —

— Что ж тут сказать? Просто для меня ясно: такая полоса**; он задохся от очень трудного воздуха жизни; другие говорили вслух: «Душно». Он просто замолчал, да и... задохся.

Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня***, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно, и**** слепым прожить. Слепые или *умирают* или *просветляются* внутренно: вот и *стукнуло* мне его *смертью*: *пробудись*, или *умри*: *начнись* или *кончись*.

И встает: «*быть или не быть*»¹⁴⁸.

Когда душа просилась ты
Погибнуть, иль любить...¹⁴⁹

Дельвиг.

И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, *гуманной* жизни, иль смерти. Орангутангом душа жить не может. И смерть Блока для меня это зов «*погибнуть иль любить*».

Он был поэтом, *т.е. человеком вполне*, стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле). А жизнь так жестока: он и задохся.

Эта смерть — первый удар колокола: «*поминального*», или «*благовестящего*». Мы все, как люди вполне, «*на роковой стоим очереди*»¹⁵⁰: «*погибнуть, иль... любить*». Душой с Вами. Б. Бугаев.

* * *

Осенью 1921 г. Белый поехал из России в Германию. Однако у него не было германской визы, в хлопотах о которой он довольно надолго задержался в Лит-

* Эта цифра вписана над строкой, после того, как в строке она несколько раз переделывалась: 8, 7 и опять 8 (прим. В. Ходасевича).

** Здесь было слово «просто», но затем зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

*** Здесь было слово «просто», но зачеркнуто, как и в предыдущий раз (прим. В. Ходасевича).

**** Первоначально было: «или» (прим. В. Ходасевича).

ве¹⁵¹. Нижеследующее письмо написано им из Ковно, как раз в этот период. Оно обращено не ко мне, а к другому лицу¹⁵², которое находилось в Западной Европе, где провело все время войны и революции. Это письмо не было отправлено по адресу. Белый мне отдал его в 1923 году вместе с некоторыми другими документами. Оно очень обширно: содержит двадцать страниц большого формата, исписанных мелким, убористым почерком. Я печатаю его с большими сокращениями (приблизительно наполовину), исключив все то, что по обстоятельствам момента не может быть опубликовано, и сохранив лишь то, что составляет рассказ Белого о его жизни с 1918 по 1921 год. Этот рассказ тесно связан с главным содержанием письма, но имеет и вполне самостоятельный интерес. Пропуски, мною сделанные, везде обозначены многоточиями, заключенными в квадратные скобки. Некоторые имена собственные я счел нужным обозначить инициалами по обычным приемам.

2

11 ноября 21 года. Ковно.

[...] ¹⁵³ до Рождества 1918 года я: 1) читал курс лекций, вел семинарий с рабочими, разрабатывал программу Театр<ального> Университета, [...] ¹⁵⁴ читал лекции в нетопленном помещении «Антр[опософского] ¹⁵⁵ О-ва», посещал заседания О-ва; — а с января 1919 года: я все бросил: посещение О-ва, чтение лекций для интересующихся Антропософией; лег под пубу; и — пролежал в полной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело...

[...] ¹⁵⁶. Это чувство невозможности открыто разговаривать с Тобой до личного свидания (а где, когда оно будет?) соответствует ощущению каждого русского, попадающего за границу и выслушивающего вопросы со стороны людей, долго в России не бывших: «Ну что же в России?» И — делается неловко и мучительно: ведь спрашивающий — младенец, ничего не понимающий; заговорить «*правдиво*» с ним невозможно: «*неугасимую ярость*» к иным типам из коммунистов истолкует он, чего доброго, как «*большевизм*»; ясную светлость и примиренность (итог мучений) истолкует, как «*бей жидов*» чего доброго; и приходится вымучивать из себя готовые, трафаретные фразы: что Россия сдала экзамен, что Россия, быть может, впервые родилась в нашем чувстве глубочайшего страдания, что «*буди, буди*» Достоевского¹⁵⁷ становится уже «*есть*» — да разве такой человек поймет? Он ребенок; и не нам, старикам, вынесшим на плечах 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочется говорить: «*Да, вот — когда я лежал 2½ месяца во вшах, то мне...*» Тут собеседник переберет: «Ах, ужас; и вши по вас ползали?» Посмотришь, и скажешь снисходительно: «Ползали, ползали: 2 недели лечился от экземы, которая началась от вшей» и т.д. Или начнешь говорить: «Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи тифозный». И опять переберут: «Ах, Вы жили с тифозным!» Опять улыбнешься и скажешь: «Да, жил: и ходил читать лекции, готовился к лекциям под крик этот!»...

[...] ¹⁵⁸. Все мы в 1919 году были полны этой тьмой: в Москве расстреляли Астровых, Щепкина, Пашуканиса, Михаила Анатольевича Мамонтова, сошел с ума от голода Юрочка Веселовский, профессор Хвостов перерезал себе горло в припадке меланхолии¹⁵⁹; не было дома без тифозного. В комнатах стояла температу-

ра не ниже — 8° мороза, но и не выше 7° тепла. Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные особняки; А.С.П.¹⁶⁰ крал чужие поленья растапливать печурку и т.д.; прожиточный минимум стоил не менее 15.000 рублей (теперь 600.000, не менее), а мама получала лишь 200 рублей пенсии, жила еще без печурки в комнате при 0° (и — ниже), каждый день выходя на Смоленский Рынок¹⁶¹ продавать старье свое (я ей отдавал все, что мог, но этого было мало). Я жил это время вот как: —

— в небольшой комнате, окруженный С-ми, (за стеной баранье бляенье М.И. С-ой и брюзжанье В-ва¹⁶²; за другой — отвратительное клохтанье старухи матери С-ой); у меня в комнате, в углу, была свалена груда моих рукописей, которыми 5 месяцев подтапливали печку; всюду были навалены груды г-вского¹⁶³ старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама при температуре в 6—4°, в зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами просиживал я при тусклейшем свете перегоревшей лампочки или готовя материал для лекций следующего дня или разрабатывая мне порученный проэкт в Т.О. (Театральн<ом> Отделе)¹⁶⁴, или пишгучи «Записки чудака», в изнеможении бросаясь в постель часу в 4-ом ночи; отчего просыпался я не в 8, как С-вы (глубокие мешане, мешанством загнавшие меня в угол), а в 10 и мне никто не оставлял горячей воды; так, без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в 11 бежал с Садовой к Кремлю (где был Т.О.), попадая с заседания на заседание (я тогда заведовал Научно-Теор<етической> секцией); в 3½ от Кремля по отвратительной скользкой мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я тащился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше «советского», ибо кормился я в частном доме — у друзей — Васильевых¹⁶⁵). После обеда надо было «переть» с Дев<ичьего> Поля на Смоленский Рынок, чтобы к ужину заpastись «гнилыми лепешками», толкаясь среди вшивой, воню<чей>* толпы и дохлых собак (помню вывеску на углу «Все для желудка» — раз посмотрел в окно, что такое это «все»; это были — пустые бутылки: материя потребления утекла для них; и это называлось «Все для желудка...»; оттуда, со Смоленского Рынка, тащился часов в 5—6 домой, чтобы в 7 уже бежать обратно по Поварской в Пролет-Культ, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэзией; и уже оттуда часов в 11 брел домой, в абсолютной тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы; и почти плача оттого, что чай, который мне оставили, опять простыл, и что ждет холод, от которого хочется кричать.

Пойми, — так продолжалось: не день, не два, а ряд месяцев, в которых каждый час — терзание: на холодные, огромные дома, в которых лопались водопроводы (и квартиры заливались то водой, то нечистотами) — на дома сыпался снег; и — казалось: засыпает засыпает, — навсегда засыпает; и каждая снежинка, казалось, отделяет расстояние между этой унылой тьмой сплошных физических и нравственных мучений и тем, где «все, что сердцу мило» [...] ¹⁶⁶. Вспоминалось «Winterreise» Шуберта¹⁶⁷; и высекался свет; и я находил все же силы читать лекции, которые** в людях зажигалась надежда (люди ждали моих лекций, как нравственной

* После переноса слово недописано (прим. В. Ходасевича).

** Переделано из: «в которых». По-видимому, написав сначала: «в которых в людях зажигалась надежда». Белый начал исправлять фразу, чтобы получилось: «которые в людях зажигали надежду», — но исправления не dokonчил (прим. В. Ходасевича).

поддержки в их тьме); и я, перемогая тьму, давал другим силу переносить тьму, не имея этой силы, и как бы протягивая руки за помощью [...] ¹⁶⁸ Я ждал нравственной помощи: ведь мы [...] ¹⁶⁹ должны были для Вас выглядеть умирающими, ведь действительно: холод, голод, аресты, тиф, испанка ¹⁷⁰, нервное переутомление сводило вокруг в могилы целые шеренги людей. Я думал, что из чувства естественного, человеческого сожаления или просто духовной чуткости — вы [...] ¹⁷¹ должны были бы понять, в чем мы. «Трах!» [...] ¹⁷² А я и сказать ничего не мог о том, в каких тяготах мы живем: цензура писем!

[...] ¹⁷³ Оставалось воскликнуть словами Гишпиус: *«Ни-че-го не понимают!»*

[...] ¹⁷⁴. А теперь: вот я вырвался, — и меня не пускают в Германию; и не к кому обратиться. Доктор Штейнер сейчас в Берлине (это я знаю по объявлению лекций его в *«Berliner Tageblatt»* ¹⁷⁵). Мне все говорят, что он в 24 минуты мог бы устроить мне визу, чтобы из *«Auswertiges Amt»* ¹⁷⁶ в Ковно мне была послана виза; но наученный опытом, что такого *«великого человека»* не беспокоят по пустякам [...] ¹⁷⁷, и не напишу ничего *«великому человеку»*) — из гордости и из недоверия. [...] ¹⁷⁸. В Ковно мне долго жить нельзя (транзитная виза); и мне остается уехать обратно в Россию, если люди, безмерно менее влиятельные, чем Штейнер, не сумеют мне достать визы. Может быть, когда ты получишь это письмо, я уже буду опять в России. И на этот раз уже никуда не поеду. Прощай. Б.

P.S. И опять пишу Тебе.

[...] ¹⁷⁹. Вот список цен в Москве и Петербурге за продукты: фунт сомнительного хлеба (в Петербурге смешанного с мохом) — 3.000. Коробка спичек — 1.200 рублей; 10 папирос — от 1.000 (дрянные) до 2.500 (более сносных); крошечная булочка белая — 3.000; маленький пирожок сладкий — 4.000; сажень дров — 1.000.000. Проезд из Москвы в Петербург 150.000 р. (а когда уезжал, то цены скакнули: проезд должен был стоить 700.000 рублей); пара дрянных ботинок — от 600.000, 700.000 до миллиона. И т.д.

Ужасно! Подумай, как живут в Москве? Я пять лет не мог себе шить шубы; так и ходил в чужой шубе, жалея, что свою старую оставил в Швейцарии; мои невыразимые были в таком состоянии все лето, что я должен был все лето ходить в русской рубашке, чтобы прикрыть неприличие своих панталон, а когда наступила осень, я стал простужаться от легкой одежды; мне пришлось вооружиться иголкой и нитками (катушка ниток — 20.000) и просидел 2 вечера за штопаньем, абсолютно не умея справиться с одеждой (нужно было быть искусной мастерицей, а я едва владею иголкой). В таких панталонах читал лекции, появлялся в публичных местах, председательствовал на многоядных собраниях; шляпа моя — была драная; мы все выглядели оборванцами; очереди получить что-либо от казны таковы, что ждут годами; 3 дня в Петрограде ходил в туфлях, ибо сапог не было.

[...] ¹⁸⁰. Я бы погиб, если бы отдельные добрые души (чаще женские) иногда добровольно мне не помогали, т.е. немного заботились о тысячах мелочей нашей усложненной хозяйственной жизни.

Подумай, везде хвосты; Ты получаешь карточки на все, и должен следить за всем: когда выдаются спички, селедки, хлеб, папиросы; о дне выдачи опубликовывается в газетах; далее, узнав, ты должен за получением 2 коробок спичек, или ½ фунта хлеба вовремя занять место в очереди перед продовольственной лавкой; и иногда часами стоять на дожде, морозе и т.д. Сегодня выдают спички, завтра 2 се-

ледки, послезавтра $\frac{1}{2}$ ф. хлеба и т.д. Из хвоста — в хвост. Подумай, а у меня по 6 заседаний в день; у кого семейство — пошлют сына; он — отстоит; а когда человек один, он должен и стоять в хвостах, и служить; и, вернувшись домой, натаскать дров, наколоть дрова; и пуститься в хвосты.

Естественно, что я манкировал всюду: например узнал, что 20 огромных селедок выдают писателям, где-то на Мясницкой в час, когда у меня было ответственное дело, — пропали селедки. Самой простой вещи, таскального мешка у меня не было, пока мне одна дама не сшила его (уже перед отъездом); ведь сколько пришлось перетаскать на спине.

Вот как я жил с осени 1919 года до февраля 1920 года: намучившись ледяной с-вской комнатой 1918–1919 года, я переехал к *тройным рамам* одной квартиры, где жила моя знакомая писательница N¹⁸¹ (бывшая хлыстовка и «распутинка», а ныне нервная, капризная эфироманка, хотя — добрый человек). Она приютила меня вроде как из милости в комнате, имевшей лишь 2 шага в длину и $1\frac{1}{2}$ в ширину; комнату замазали; форточки, т.е. вентиляции, в ней не было. Книги, рукописи лежали грудami на полу (не было ни шкафа, ни комода): постель, стол, кресло; и — все. Комнату топили дровами через день или через 2; температура стояла сносная от 7 до 9 градусов; но в дни топки я рисковал умереть от угара, ибо печка просачивала угар. В квартире порой стоял крик хозяйки, пронизывающий мои стены; кроме того, очень часто в моей печке варился наш обед т.е. часто готовили у меня; и открывая утром глаза, я заставал мою хозяйку в дезабилье, сидящей перед печкой и что-то варящей там невзирая на то, что я не одет. Картофель мешался с рукописями, а когда раз я уехал на несколько недель и потом вернулся, я увидел, что ряда листов ценного материала, собранного в музеях, — нет: вероятно, им завертывали селедки. Днем я бежал от Пресни к Историческому и Рум-янцевскому Музею, сидел в температуре 0 и ниже 0, делая выписки, пока ноги не оцепеневали до колен; тогда я читал, прыгая от холода¹⁸². Возвращался в 5 часов в свою комнатушку. В то время я читал в А<нтропософском> О-ве курс «Антропософия» в помещении, где от холода леденел мозг и где все сидели в шубах и шапках; тем не менее: когда один старик, почтенный человек, В.А. Пале, уже старик, умирал от испанки, то он умер с розенкрейцерским лозунгом на устах: так людям были нужны мои лекции; и я думаю, что наша Антр<опософская> работа была очень ценна, ибо мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди. Тем не менее, я с Рождества бросил курс: не мог его выдержать; тягота и физические страдания бременили меня. Мой хозяин за тонкой стенкой заболел тифом: и днями, и ночами кричал в беспамятстве. И вот среди варки обеда, угаров печки, картофеля, супа и истерических воплей хозяйки я должен был раскидывать свои груды рукописей; и — работать. [...] ¹⁸³

Этих горьких минут личной покинутости («*Боже мой, за что Ты оставил меня!*»)¹⁸⁴ я не забуду. Наконец я не выдержал, сорвался и бежал из Москвы в Петербург (усталый, разбитый); и — февраль, март, апрель, май, июнь я как вол заработал в нашей Петербургской «*Вольфиле*»...* [...] ¹⁸⁵ как за меня там цеплялись десятки душ, которых я приобщал к «*самопознанию*»: меня буквально выпили; и, *выпитый*, я кинулся обратно в Москву, потому что уже не мог давать ничего людям (в Петер-

* «Вольная философская ассоциация», основанная в 1920 г. и существовавшая до 1925 г. (прим. В. Ходасевича).

бурге я прочел до 60 лекций), опять попадая в Москву и опять окруженный криком: «Дай, дай, дай, дай духовной пищи!» [...] ¹⁸⁶ не легко было эту пищу давать, потому что я-то ни от кого не получал ничего... Не забудь, что одновременно, в то же время я неустанно хлопотал о выезде: меня не пустили в феврале 1920 года; потом в августе 1920 года не пустили вторично, и в сентябре меня подобрал А.И. Анненков и увез жить за Москву к себе на завод ¹⁸⁷; отсюда я делал выбеги на лекции (которыми жил я материально и которыми жили морально многие души); с сентября до января я написал книгу по философии культуры и черновик *Эпопеи* (1-го тома), работая безумно много, до нервного изнеможения; книга по «Философии Культуры» потеряна* (это была лучшая моя книга теоретическая: антропософское обоснование культуры; не я потерял, но мне потеряли ее – Виноградов ¹⁸⁸, который хотел для меня снять копию); а вторую книгу, мной написанную, «Толстой и культура» увез латвийский спекулянт ¹⁸⁹ (печатать за границу) за миллион аванса (списка снять не было времени); и – исчез бесследно: и эта книга потеряна ¹⁹⁰.

Видишь, мне не везло.

В декабре я упал в ванне и 10 дней таскался в Москву из-под Москвы, пока не сделалось воспаление надкостницы крестца и не обнаружилось, что я раздробил крестец: меня сволокли в больницу, где я 2¹/₂ месяца лежал, покрытый вшами. И я опять рванулся из Москвы, опять попал в Петроград; опять с марта до сентября впрягся в работу «Вольфильм» – с какими же силами? Опять хлопотал об отъезде; и опять не пустила чрезвычайка (в июне); тогда я нервно заболел; меня лечил невропатолог проф. Троицкий ¹⁹¹; тут я решил бежать, но об этом узнала чрезвычайка; и побег – рухнул. Тут умер Блок, расстреляли Гумилева; и – устыдились: молодежь стала кричать: «Пустите Белого за границу, а то и он как Блок умрет!» Друзья надавили; и – пустили.

[...] ¹⁹² как провожала меня молодежь в Петербурге, какие слова благодарности я слышал (Кто-то из публики мне крикнул: «Милый, Котик Летаев, – когда вам будет одиноко там, помните, что мы, здесь, вас любим!» Так же меня провожали в Москве: представители студий, писатели, молодежь. Да, [...] ¹⁹³ меня крепко любит Россия!..

Но я все бросил: рванулся [...] ¹⁹⁴

И сижу закупоренный в Ковно без цели и смысла, без отдыха, но и без дела: можно эдак просидеть энное количество месяцев. Визы еще нет из Берлина. Нужно, чтобы *Auswertiges Amt* дало разрешение, а разрешения – нет. Доктор мог бы в 24 часа меня выцарапать отсюда; он – в Берлине, но... «великого человека» не беспокоят по пустякам. [...] ¹⁹⁵

И мне остается ехать обратно, ибо в России есть хоть смысл *насть от усталости*, а здесь, в Ковно, нет никакого смысла сидеть. Уже прочел 3 лекции. Срок права на жительство – до 17.

P.P.S. Кажется, – все же прорвусь в Берлин (пишу это 12-го); виза прислана, но немцы в Ковно выдвигают новое требование: поручительство; и с поручительством налаживается, – но кто знает, какие еще новые препятствия ждут. Сейчас я так измучен, что не думаю ни о чем, лишь бы устроиться где-нибудь в Германии: отоспаться [...] ¹⁹⁶ – чтобы, отоспавшись, заработать над «Эпопеей»...

* Впоследствии она отыскалась и была доставлена Белому в Берлин, но напечатать ее ему не удалось. Она до сих пор находится в рукописи (прим. В. Ходасевича).

ледки, послезавтра $\frac{1}{2}$ ф. хлеба и т.д. Из хвоста — в хвост. Подумай, а у меня по 6 заседаний в день; у кого семейство — пошлют сына; он — отстоит; а когда человек один, он должен и стоять в хвостах, и служить; и, вернувшись домой, натаскать дров, наколоть дрова; и пуститься в хвосты.

Естественно, что я манкировал всюду: например узнал, что 20 огромных селедок выдают писателям, где-то на Мясницкой в час, когда у меня было ответственное дело, — пропали селедки. Самой простой вещи, таскального мешка у меня не было, пока мне одна дама не сшила его (уже перед отъездом); ведь сколько пришлось перетаскать на спине.

Вот как я жил с осени 1919 года до февраля 1920 года: намучившись ледяной с-вской комнатой 1918—1919 года, я переехал к *тройным рамам* одной квартиры, где жила моя знакомая писательница N¹⁸¹ (бывшая хлыстовка и «*распутинка*», а ныне нервная, капризная эфироманка, хотя — добрый человек). Она приютила меня вроде как из милости в комнате, имевшей лишь 2 шага в длину и 1 $\frac{1}{2}$ в ширину; комнату замазали; форточки, т.е. вентиляции, в ней не было. Книги, рукописи лежали грудями на полу (не было ни шкафа, ни комода): постель, стол, кресло; и — все. Комнату топили дровами через день или через 2; температура стояла сносная от 7 до 9 градусов; но в дни топки я рисковал умереть от угара, ибо печка просачивала угар. В квартире порой стоял крик хозяйки, пронизывающий мои стены; кроме того, очень часто в моей печке варился наш обед т.е. часто готовили у меня; и открывая утром глаза, я заставал мою хозяйку в дезабилье, сидящей перед печкой и что-то варящей там невзирая на то, что я не одет. Картофель мешался с рукописями, а когда раз я уехал на несколько недель и потом вернулся, я увидел, что ряда листов ценного материала, собранного в музеях, — нет: вероятно, им завертывали селедки. Днем я бежал от Пресни к Историческому и Рум<янцевскому> Музею, сидел в температуре 0 и ниже 0, делая выписки, пока ноги не оцепеневали до колен; тогда я читал, прыгая от холода¹⁸². Возвращался в 5 часов в свою комнатушку. В то время я читал в Антропософском О-ве курс «Антропософия» в помещении, где от холода леденел мозг и где все сидели в шубах и пантах; тем не менее: когда один старик, почтенный человек, В.А. Папе, уже старик, умирал от испанки, то он умер с розенкрейцерским лозунгом на устах: так людям были нужны мои лекции; и я думаю, что наша Антр<опософская> работа была очень ценна, ибо мы поднимали дух в человеке, а этим духом только и отапливались люди. Тем не менее, я с Рождества бросил курс: не мог его выдержать; тягота и физические страдания бременили меня. Мой хозяин за тонкой стенкой заболел тифом: и днями, и ночами кричал в беспамьятстве. И вот среди варки обеда, угаров печки, картофеля, супа и истерических воплей хозяйки я должен был раскидывать свои груды рукописей; и — работать. [...] ¹⁸³

Этих горьких минут личной покинутости («*Боже мой, за что Ты оставил меня!*»)¹⁸⁴ я не забуду. Наконец я не выдержал, сорвался и бежал из Москвы в Петербург (усталый, разбитый); и — февраль, март, апрель, май, июнь я как вол заработал в нашей Петербургской «*Вольфиле*»...* [...] ¹⁸⁵ как за меня там цеплялись десятки душ, которых я приобщал к «*самопознанию*»: меня буквально выпили; и, *выпитый*, я кинулся обратно в Москву, потому что уже не мог давать ничего людям (в Петер-

* «Вольная философская ассоциация», основанная в 1920 г. и существовавшая до 1925 г. (прим. В. Ходасевича).

бурге я прочел до 60 лекций), опять попадая в Москву и опять окруженный криком: «Дай, дай, дай, дай духовной пищи!» [...] ¹⁸⁶ не легко было эту пищу давать, потому что я-то ни от кого не получал ничего... Не забудь, что одновременно, в то же время я неустанно хлопотал о выезде: меня не пустили в феврале 1920 года; потом в августе 1920 года не пустили вторично, и в сентябре меня подобрал А.И. Анненков и увез жить за Москву к себе на завод ¹⁸⁷; отсюда я делал выбеги на лекции (которыми жил я материально и которыми жили морально многие души); с сентября до января я написал книгу по философии культуры и черновик *Эпопеи* (1-го тома), работая безумно много, до нервного изнеможения; книга по «Философии Культуры» потеряна* (это была лучшая моя книга теоретическая: антропософское обоснование культуры; не я потерял, но мне потеряли ее – Виноградов ¹⁸⁸, который хотел для меня снять копию); а вторую книгу, мной написанную, «Толстой и культура» увез латвийский спекулянт ¹⁸⁹ (печатать за границу) за миллион аванса (списка снять не было времени); и – исчез бесследно: и эта книга потеряна ¹⁹⁰.

Видишь, мне не везло.

В декабре я упал в ванне и 10 дней таскался в Москву из-под Москвы, пока не сделалось воспаление надкостницы крестца и не обнаружилось, что я раздробил крестец: меня сволокли в больницу, где я 2¹/₂ месяца лежал, покрытый вшами. И я опять рванулся из Москвы, опять попал в Петроград; опять с марта до сентября впрягся в работу «Вольфиллы» – с какими же силами? Опять хлопотал об отъезде; и опять не пустила чрезвычайка (в июне); тогда я нервно заболел; меня лечил невропатолог проф. Троицкий ¹⁹¹; тут я решил бежать, но об этом узнала чрезвычайка; и побег – рухнул. Тут умер Блок, расстреляли Гумилева; и – устыдились: молодежь стала кричать: «Пустите Белого за границу, а то и он как Блок умрет!» Друзья навалили; и – пустили.

[...] ¹⁹² как провожала меня молодежь в Петербурге, какие слова благодарности я слышал (Кто-то из публики мне крикнул: «Милый, Котик Летаев, – когда вам будет одиноко там, помните, что мы, здесь, вас любим!») Так же меня провожали в Москве: представители студий, писатели, молодежь. Да, [...] ¹⁹³ меня крепко любят Россия!..

Но я все бросил: рванулся [...] ¹⁹⁴

И сижу закупоренный в Ковно без цели и смысла, без отдыха, но и без дела: можно эдак просидеть энное количество месяцев. Визы еще нет из Берлина. Нужно, чтобы *Auswertiges Amt* дало разрешение, а разрешения – нет. Доктор мог бы в 24 часа меня выцарапать отсюда; он – в Берлине, но... «великого человека» не беспокоят по пустякам. [...] ¹⁹⁵

И мне остается ехать обратно, ибо в России есть хоть смысл *насть от усталости*, а здесь, в Ковно, нет никакого смысла сидеть. Уже прочел 3 лекции. Срок права на жительство – до 17.

P.P.S. Кажется, – все же прорвусь в Берлин (пишу это 12-го); виза прислана, но немцы в Ковно выдвигают новое требование: поручительство; и с поручительством налаживается, – но кто знает, какие еще новые препятствия ждут. Сейчас я так измучен, что не думаю ни о чем, лишь бы устроиться где-нибудь в Германии: отоспаться [...] ¹⁹⁶ – чтобы, отоспавшись, заработать над «Эпопеей»...

* Впоследствии она отыскалась и была доставлена Белому в Берлин, но напечатать ее ему не удалось. Она до сих пор находится в рукописи (прим. В. Ходасевича).

[...] ¹⁹⁷ все, что подлинно любит меня, все, чему я нужен, — в России. Русская эмиграция мне столь же чужда, как и большевики; в Берлине я буду один. Антроп<ософское> О-во? Но — нет, нет, нет; там я был бы *бараном* в стаде; моя работа в Антропософии — в России. Но Россия меня измучила.

Стало быть: я стараюсь, пока что рассматривать *Ausland* ¹⁹⁸, как санаторий, в котором мне надо укрепить нервами, написать начатые книги, издать их; [...] ¹⁹⁹

Пока не буду в Берлине, не уверен, что не придется ехать обратно.

Читаю послезавтра в Ковенском Городск<ом> Театре о Толстом (это моя 4-ая лекция здесь) ²⁰⁰.

Ну, Господь с Тобой.

P.S. Все, что я писал о России, не рассказывай, что именно я писал: помни, что за нами, Русскими, и за границей следят агенты Чрезвычайной Комиссии. А я оставляю маму в России ^{*201}, которую могут арестовать за меня; да и кроме того: обратного въезда не хочу испортить, ибо близкие сердцу друзья — в России.

Литовцы очень милый народ. Я сошелся с Обществом Литовских Художников (включающее и литераторов); среди них нашлись милые, тонкие, сердечные люди. Литва переживает начало строительства своей государственности. Литовский язык очень звучен и красив.

Две мои лекции (технические) о худ<ожественной> форме сильно запали в сознание здешней молодежи; председатель драматической секции обратился ко мне с просьбой дать план организации работ Литературно-Художественной Студии т.е. программу литературных курсов, постановку семинария ²⁰²: просили меня из Берлина прислать разработанным этот план.

Познакомился с очень симпатичным литовск<им> общественным деятелем, ксендзом Tamas'om ²⁰³ и некоторыми другими литовцами.

Последние дни в России в спешке выезд организавал в Москве отделение «Вольной Философской Ассоциации» и провел первое заседание. Меня выбрали бесшменным председателем Московского и Петербургского Отделения, хотя я и уезжаю за границу. И в Москве, и в Петербурге прочел несколько лекций в последний месяц перед отъездом; в Петербурге: «Философия поэзии Блока», «Воспоминания о Блоке» и опять «Воспоминания о Блоке»; и в Москве: «Поэзия Блока» ²⁰⁴ и «Кризис Культуры и Достоевский».

В Совете Петербургской Вольной-Фил<ософской> Ассоциации я (председатель), Иванов-Разумник (Пом<ощник> председателя), А. Штейнберг (ученый Секретарь), Эрберг. В Совете Московской «Вольно-Фил<ософской> Асс<оциации>» я (председатель), Столяров (пом<ощник> председателя), Шпетт (пом<ощник> председателя), Новомирский (ученый секретарь). Среди действительных членов — Гершензон, Бердяев, Вышеславцев, Степшун, Кандинский и др. ²⁰⁵ У Бердяева есть другое О-во, председателем которого он состоит: «Академия духовной культуры» ²⁰⁶. «Вольфила» и «Академия» — суть братские антиподы и конкуренты: «Вольфила» — нового духа, «Академия» — старого). Дух *Dreigliederung* ²⁰⁷ — дух «Вольфилы».

Антропософское О-во полно теперь жизнью: произошли решительные перемены. [...] ²⁰⁸

Довольно. Кончаю это горькое письмо. Сделаю все возможное, чтобы оно дошло до Тебя. Прощай. Б.Б.

* Мать Андрея Белого скончалась в 1923 г. в Петербурге (прим. В. Ходасевича).

* * *

Белый часто терял рукописи — свои и чужие: не потому, что был рассеян в простом, обывательском смысле, а потому, что жил в некоей фантазмагории. Казалось, предметы, попадавшие в его обиход, подхватывались тем вихрем, которым он сам был всегда подхвачен. Об одном таком случае чудесно рассказала Марина Цветаева²⁰⁹. Иллюстрацией к другому может быть письмо, само по себе незначительное, но выразительно представляющее ту суматошную смесь действительности с бредом, которая то и дело заваривалась вокруг Белого.

В начале 1923 г. издатель З.И. Гржебин²¹⁰ поручил мне составить том избранных сочинений Державина. Я отметил нужные стихи по Академическому изданию²¹¹, после чего они были ремингтонированы. В то же время Белый с нашим общим переводчиком В. Грегером²¹² задумывали издать антологию русских поэтов на немецком языке. Белый взял у меня несколько стихотворений Державина, чтобы показать их Грегеру, а затем уехал в Штуттгарт и Гарцбург, с К.Н. Васильевой, будущей своей женой. Меж тем, Гржебин решил приступить к набору книги, и я написал Белому, прося вернуть взятые у меня листки из рукописи. В ответ получил я 17 июня 1923 г. нижеследующее (недатированное) письмо из Гарцбурга:

3

Дорогой, милый Владислав Фелицианович,

весь день сегодня я бегаю по комнате с внутренним жестом, что я схватил себя за голову, что я рву волосы на* голове от отчаяния, боли, обиды за Вас, злясь, что даже нечего мне сказать в защиту себя с полным сознанием той гадости, которую я Вам сделал; и без всякой возможности поправить беду; мне остается одно: написать Гржебину письмо с указанием на то, что Вы в деле с Державиным не при чем, а во всем виноват я. Не давайте мне больше ничего: ни строчки! Я постоянно в потоке бумаг; и при всех усилиях *без секретаря* я не могу справиться с порядком, барахтаюсь в волнах своих и чужих рукописей с пересыпающимися друг в друга архивами... Все «несносный» Грегер, выматывавший из меня материалы... Понимаете, что произошло? Я старательно спрягал листки Державина в сундук, уезжая в Штуттгарт; вернувшись, перерыл все — листков не было; и я подумал, что недосмотрел; при спешной перекладке пришлось перекопаться в бумагах, скопившихся за 7 месяцев: спешно; и груды дряни выбросить (с ними и ряд чьих-то рукописей, которых не было возможности вернуть); пришлось в** трех местах запрятать бумаги (иные в несгораемый шкаф, ключа от которого у меня нет: где-то в Центро-Союзе: но там, ручаюсь: нет листков с Державиным. Словом, при генеральной разборке их не оказалось: и я был уверен, что листки в Вашем Лермонтове: но в Гарцбурге обнаружилось, что их и здесь нет. И стало быть: они оказались в куче бумаг, вероятно, выброшенных... Ужасно! Я волосы на себе рву; если... паче чаяния я не передал Грегеру этих листков (наверное, — нет); снесите с Грегером: *Wolfgang E. Gröger. Berlin-Steglitz. Sedan-str. 11. Kurfürst. 52–66* или *52–67*. Я могу написать в Москву, чтобы спешно выслали текст, если Вы тотчас дадите мне перечень стихов, которые дали мне: Кл. Ник. Васильева ручается за спешную высылку тек-

* Сперва было «на себе», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

** Начато: «Бер<лине>», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

ста. Еще раз — * верьте, что я совершенно не нахожу себе места и покоя с отчаяния. Не смею даже просить Вас о смене гнева на милость.

Совершенно несчастный Борис Бугаев.

(На верху страницы): P.S. Я не раз страдал от таких «казусах» <так!>, которые мне подносили друзья: и оттого-то я, верьте, переживаю с особою болью то, что именно я подложил Вам «свинью»...

* * *

В конце октября 1923 г. Белый уехал в Россию. После его отъезда хозяйка пансиона, в котором он жил весной, принесла мне грудку бумаг, брошенных Белым на произвол судьбы. Листки из Державина нашлись в этой грудке, которая была мною тогда же передана одному лицу, положившему много труда на заботы о Белом во время его трагического пребывания в Берлине. Судьба этих бумаг мне неизвестна.

Послесловие

О том, что Андрей Белый значил для Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939), очень решительно сказано в публикуемых некрологах-воспоминаниях: «<...> он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал». Если прибавить к этому слова Н.Н. Берберовой, которая в некрологе Ходасевичу говорила: «<...> особо было его отношение к Андрею Белому <...> — ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, “сильнее смерти” любовь, которую он чувствовал к автору “Петербурга”. Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу»¹, то иные комментарии будут излишни.

Белый написал о творчестве Ходасевича две большие статьи: «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (Записки мечтателей. 1921. № 5) и «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. 1923. Кн. XV). Ходасевич, в свою очередь, написал о его прозе большую аналитическую статью «Аблеуховы — Летаевы — Коробкины» (Современные записки. 1927. Кн. XXXI; позднейшие ее перепечатки восходят к сильно отцензурованному Н.Н. Берберовой тексту и потому не могут восприниматься как надежный источник), рецензировал «Крещеного китайца» (Современные записки. 1927. Кн. XXXII) и все три тома воспоминаний: «На рубеже двух столетий» (Возрождение. 1930. 29 мая. № 1822), «Начало века» (Возрождение. 1934. 28 июня. № 3312 и 5 июля. № 3319), «Между двух революций» (От полуправды к неправде (Возрождение. 1938. 27 мая. № 4133))²; постоянно апеллировал к его имени и произведениям во многих статьях. Белый вспоминал о своем общении с Ходасевичем в «Между двух революций»³, а тот — в известном очерке

* Здесь было начато слово «рву», но зачеркнуто (прим. В. Ходасевича).

¹ Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 259.

² Две последние статьи перепечатаны в кн.: Андрей Белый: pro et contra. СПб., 2004. С. 856–872.

³ МДР 1990. С. 221–224; другие упоминания в трилогии — по указателю.

«Андрей Белый» в книге «Некрополь» (Брюссель, 1939). Отметим также пародию Ходасевича: «Московская симфония (5-ая, перепевная)»¹.

На смерть Белого Ходасевич в 1934 г. откликнулся тремя публикациями: некрологической заметкой «Андрей Белый» (Возрождение. 1934. 13 января. № 3147; подп. В.Х.), большими, растянувшимися на три номера воспоминаниями «Андрей Белый. Черты из жизни» (Возрождение. 1934. 8, 13 и 15 февраля. № 3173, 3177, 3179) и мемуарно-биографическим материалом «Три письма Андрея Белого» (Современные записки. 1934. Кн. LV. С. 257–270). Мы перепечатаем их в полном объеме по тексту первой публикации. Значительные разночтения с очерком «Андрей Белый» в сб. «Некрополь» (Брюссель, 1939) отмечены в постраничных примечаниях; также в постраничных примечаниях отмечены – по публикации в «Воздушных путях» (Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 296–309) – купюры, сделанные Ходасевичем в письме Белого к А.А. Тургеневой от 11 ноября 1921 г.

¹ Естественно-математическое отделение Московского университета тогда называлось естественным отделением физико-математического факультета. Белый поступил на него в 1899 г. и в 1903 г. окончил с дипломом первой степени.

² Слово «перешел» здесь неточно. Белый заново поступал на другой факультет.

³ «Симфония (2-я, драматическая)» была написана в 1901 г., однако издана в апреле 1902 г.

⁴ Здесь Ходасевич явно апеллирует к собственному опыту, так как в «Альманахе к-ва Гриф» в 1905 г. дебютировал в печати он сам.

⁵ На первый взгляд, эти воспоминания чрезвычайно напоминают очерк «Андрей Белый», вошедший в сборник «Некрополь» (Брюссель, 1939). На самом деле это не вполне так. Составляя книгу, Ходасевич весьма свободно перекomпоновывал отдельные элементы текста, и в публикуемую здесь газетную редакцию включены значительные фрагменты, впоследствии попавшие в очерки «Брюсов» и «Конец Ренаты». Помимо того, есть довольно существенные текстуальные разночтения, вызванные многими причинами.

Прежде всего, общие принципы «Некрополя», сформулированные как в кратком предисловии и примечаниях к нему, так и внутри отдельных очерков, здесь вынесены Ходасевичем в основной текст. Далее, это изменение модальности некоторых пассажей, причем, пожалуй, невозможно в точности определить направленность этих перемен, поскольку время от времени Ходасевич в более позднем варианте усиливает решительность суждений, а время от времени – наоборот. Так, в газетном тексте читаем: «...папу он боялся и ненавидел до очень, может быть, сильных степеней ненависти (недаром потенциальные или действительные преступления против отца составляют фабулическую основу всех перечисленных романов)». В тексте книги убираются слова «может быть» и добавляется решительное «вплоть до покушения на отцеубийство». Зато в рассуждении: «Я долго своим (не легким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова: то, что Андрей Белый так ненавидел сам и что именно он научил меня ненавидеть» – снимается часть фразы после двоеточия, чем решительность явно ослабляется. Наконец, исправляются неточности (так, Н.Я. Брюсова никак не могла беседовать с Белым в 1890-х) и добавля-

¹ Впервые опубли. Р. Хьюзом (Вестник русского христианского движения. 1987. № 151. С. 145–149); см. также в примечаниях И.П. Андреевой: *Ходасевич Владислав*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 605–608.

ми спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии — все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей “между двух революций”, он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с “гидрой капитализма”. Между тем объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любый большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровленную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей — и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышло похоже на себя, но еще более — на персонажей “Петербурга” или “Москвы под ударом”. Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника — и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же “серия небывших событий”, как его автобиографические романы.

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее — не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема».

¹⁴⁰ В «Некрополе» далее: «8 января 1934 года <...>».

¹⁴¹ Из стихотворения Белого «Друзьям» (1907).

¹⁴² Рассказ Ходасевича о вечере перед арестом Гумилева и утра после этого ареста вошел в очерк «Блок и Гумилев», напечатанный в «Некрополе».

¹⁴³ Надежда Александровна Павлович (1895–1980) — поэтесса, близкая Блоку в последние годы его жизни. Ее воспоминания о Блоке см.: Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 446–506; Прометей. М., 1977. Вып. 11. С. 219–252.

¹⁴⁴ Там, в деревнях Холмки и Бельское Устье, была расположена летняя колония Дома Искусств, где жил Ходасевич с женой и пасынком. Подробнее об этом см. в его очерке «Поездка в Порхов» (перепечатано с ценными комментариями М.В. Безродного: Литературное обозрение. 1989. № 11. С. 106–112). Ходасевич прибыл на место 6 августа 1921 г.

¹⁴⁵ Имеется в виду письмо от 4 августа, где Ходасевич просил: «Бога ради, сообщите о Блоке. Перед отъездом мне сказали, что он безнадежен» (Собр. соч. Т. 4. С. 431).

¹⁴⁶ Первое из них мы разрешить не беремся: при нынешнем состоянии опубликованных материалов (прежде всего: *Щерба М.М., Батурина Л.А.* История болезни Блока // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 732–733) с точностью до дня установить начало предсмертной агонии Блока невозможно. Насчет же «сумасшествия» Блока на деле расхождения нет: врачи и мемуаристы фиксировали у него «неполное сознание действительности», «ненормальность в сфере психики», что, однако, вовсе не означало потерю сознания.

¹⁴⁷ В очерке «Блок и Гумилев» Ходасевич отказался от версии, что это слово принадлежит Белому, и возвел его к речи Блока «О назначении поэта»: «Вероятно тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав» (Собр. соч. Т. 4. С. 91).

¹⁴⁸ «Быть или не быть» — начало монолога Гамлета в трагедии Шекспира.

¹⁴⁹ Две первые строчки стихотворения А.А. Дельвига «Элегия» (1821 или 1822). Скорее всего, Белый знал, что Ходасевич в 1920–1921 гг. активно занимался творчеством Дельвига.

¹⁵⁰ Измененная строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870).

¹⁵¹ Белый уехал из Петрограда 20 октября 1921 г., 22 октября был в Риге, а с 23 октября по 15 ноября находился в Ковно (ныне Каунас).

¹⁵² Речь идет о жене Белого А.А. Тургеневой. Это письмо имеет свою печатную историю. В предисловии к очередному (последнему) выпуску альманаха «Воздушные пути» его редакция (вероятно, конкретно Роман Николаевич Гринберг [1893, по другим сведениям 1897–1969]) сообщала: «В конце ноября 1966 г. мы обратились к Анне Алексеевне Тургеневой в Дорнах (Швейцария), с просьбой разрешить нам напечатать письмо к ней от 1921 г. Андрея Белого, ее супруга. В ответ на это, мы получили открытку от ее соседа, что Анна Алексеевна скончалась 16 октября в клинике в Арлесхайме. Анна Алексеевна и есть Ася Тургенева — первая жена Белого, которая покинула его в 1922 году после приезда Белого за границу из Советского Союза. <...> Письмо мы приобрели из архива В. Ходасевича» (Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 5). Поскольку Ходасевич объяснил свое отношение к тексту письма (купюры, отказ от упоминания имен) «обстоятельствами момента», мы считаем возможным воспроизвести в примечаниях фрагменты, исключенные им из текста публикации.

¹⁵³ Здесь и далее купюры восстанавливаются по последующей публикации писем в альманахе «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1967. Альманах V. С. 296–309). Начало письма таково: «МИЛАЯ АСЯ!

Извини меня, ради Бога, если письма мои огорчали Тебя. Но мне подлинно хотелось бы разъяснить Тебе, что нетерпеливый тон моих писем из России был инспирирован ничем иным, как только Твоими письмами. Может быть, Ты неповинна в них; и весь тон их, — недоразумение. Пойми опять, что если это так, то нам, переживавшим с осени 1917 года невообразимые картины русской жизни, были, мало сказать, — непонятны Ваши

письма из Дорнаха; более того: казались оскорбительными, выглядели насмешкой подчас эти письма; кроме того: ясно чувствовалось, что Вы, сколько Вам о России ни рассказывай, все равно ничего не поймете; в этих письмах чувствовалась наивность людей, не переживших 17–20 года русской жизни, наивность, доходящая до... преступности, до цинизма, до самой утонченной жестокости; это же чувство охватывало нас при чтении эмигрантских газет, переполненных рассказами об ужасах русской жизни; да, — ужасы были, да — не те ужасы (может быть, и пострашнее, да не те, о которых писали эмигранты); были и минуты блаженства, радости, была вечная смерть, глядящая в лицо; и ощущение при первых снежинках 19-го, 20-го года, например, что — засыпает, засыпает, засыпает выше головы; засыпает и засыплет — отрежет от всего мира; что вся многомиллионная страна — страна обреченных, что это остров, отрезанный навсегда от всего милого (а сколько раз это все милое, родное мной олицетворялось Тобой и Доктором. Каков же был Рождественский подарок от Тебя в 1919 году, когда вместо ответа на мою беззвучную мольбу из снегов, из моей ледяной комнаты с температурой в 7–6–5–4 и наконец 2° (у мамы в это время доходило — 4° т.е. до 4 градуса мороза — и это в комнате!) — Каков же был подарок мне от Тебя на мою мольбу, брошенную в Дорнах из-под шубы, которой я себя накрывал в комнате, вспомни Ася? Жестокое рассудительное письмо о том, каким бременем я был для Тебя, и формальное уведомление, что Ван-дер-Паальс Тебе ближе, чем я. Можно сказать, — нашла время! Это похоже на то, как если бы человек имел против человека зуб, но молчал об этом, а потом, в припадке искренности решил высказать все, что имеет против; пришел к этому человеку в минуту, когда ему отрезают руку и тот кричит от боли, да и выпалил ему: “А я, такой сякой, имею против Тебя — вот что!”

Как бы ни были честны мотивы человека, охваченного припадком искренности, но всякий человек, просто тактичный, сказал бы: “Вот выбрали Вы неудобное время: Вы бы дали время ему успокоиться от боли!..” Твое письмо, извещавшее меня о том, что я стал для Тебя далек, было может быть глубоко честно, если принять во внимание Твою медитативную жизнь в Дорнахе, но оно было глубоко бестактно по отношению к нам, на которых в то время падали все бремена ужасных испытаний (выбрала бы Ты другое время). Человеку, замерзающему и внешне и внутренне, человеку, обремененному розысками денег, стояниями в хвостах, лечением себя от катарра (результат ужасного питания), и отсиживанием по 6 обязательных заседаний в день, не знающему, как помочь замерзающей от холода матери и т.д., — такому человеку я бы не мог, лишь из одного долга честности перед самим собой, говорить то, что Ты мне сказала в те дни; в этом “сказании” мне Твоего отношения ко мне была “истина”, но не “правда”. А “истина” есть ложь правды; лежащая правда, убитая правда. Ибо истина есть абстрактное положение; все что полагает — “Лагает”, т.е. лжет: Лог — Lüge. Лог — ложь — ложь. “Истины” суть всегда — права в параличе. И вот “честной”, параличной “истиною” своего отношения ко мне Ты так угодила мне в сердце, что <...>».

«Доктор» — Рудольф Штейнер. Леопольд Ван дер Пальс (1884–1966) — музыкант, антропософ, работал на строительстве в Дорнахе. Lüge (нем.) — ложь.

¹⁵⁴ «отсиживал по 6 заседаний в день, писал “Записки Чудака”,». Фрагмент был опущен в публикации Ходасевича без указания на купюру.

¹⁵⁵ В квадратных скобках даются конъектуры, сделанные Ходасевичем в публикации в «Современных записках»; в угловых скобках — сделанные публикаторами.

¹⁵⁶ «Но глубокое “разуверенье” и “яд сомнения” в Твоих духовных путях, а стало быть, и в деле Д-ра Штейнера (Ver. zwei = flung), — укололо мое сердце именно в тот роковой

январь 1919 года, когда твое письмо, Твой “Grüss Gott” к празднику, — оказался таким, каким он, увы, оказался.

С того времени я уже не мог Тебе написать ни одного письма с открытой душою. В моей душе образовалась глубокая морщина сомнения, которую образовала Ты. Разгладить ли Ты ее мне? Сумеешь ли? Поймешь ли меня? Все, чем веют мне сведения, доходящие из Дорнаха, — веет таким непониманием, незнанием нашего положения в России, скажу больше, неприятной бестактностью (вроде громкого разговора про светские пустяки у постели тяжелого больного), что хочется разве что... горько пожать плечами, улыбнуться, и — отвернуться: с глухими не разговаривают».

Verzweiflung (нем.) — отчаяние. «Grüss Gott» — Да благословит Бог; стандартное немецкое приветствие.

¹⁵⁷ ...«буди, буди» — название пятой главы второй части романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

¹⁵⁸ «В глубоко дрянной, в основном, книге Мережковских “Царство Антихриста” у З. Гиппиус есть, однако, ряд мест, выражающих горечь негодования, когда известия о суждениях за границей (русских о русских) доходили до нее. (Она напечатала свой дневник.) Вот место из ее дневника: 26 ноября (10 декабря) 1919 года: “Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат. Господи! А как выдержать этот ‘мир’? Стены тьмы окружили — стены тьмы! Говорят, что уже чума появилась... О чем еще говорят? Ждут новых обысков... Русские за границей — ‘парии’? Вот как? Пожалуйста. С каким презрением (справедным) смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас за границу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них. Ни-че-го не понимают”... “Прислали нам в виде милостыни немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. Сорок раз по лестнице”. Или: “Не бывало в истории. Все аналогии — пустое. Громадный город-самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не обидиотев, не то осатанев от кровей”... “Я в полусне. Работа ‘советских учреждений’ тормозится тем, что везде замерзли чернила”... Или: “Коробка спичек — 75 рублей. Дрова 30 тысяч. Масло — 3 тысячи за фунт. Одна свеча... до 500 рублей. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина). На Николаевской улице оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. Последним достались уж кишки только”... “А знаете, что такое ‘китайское мясо’? Это вот что: трупы расстрелянных, как известно, Чрезвычайка отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы: и у нас, и в Москве. Но... китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — таунают и продают под видом телятины. У нас — и в Москве. Доктор Н. (имя знаю) купил с косточкой — узнал человечью”... А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме будет “Дворец Искусств”... Или: “Л.В. взяли из больницы домой с плевроитом (в больницах 2)”. На лестнице она упала от слабости. Мороз, мороз непрерывный. Диму (Д.В. Философов) таки взяли в... работы. Завтра с утра таскать бревна... Или: “С тех пор как перестали освещать дома — улицы совсем исчезли: тихая, черная яма могильная...” Или: “Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров...” Или: “После войны Европа стала думать, что 2x2=5”. Или: “Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда комиссии... для ‘ознакомления’. Ведь их посылают — к большевикам в руки... ‘Нет, пришлите, голубчики, кого-нибудь инкогнито’”... Или: “Англия в лице Ллойд-Джоржа, вероятно и не очень честна, и не очень умна, а к тому же крайне невежественна...”. Или: “Если в Европе может в XX веке существовать страна с таким рабством и Европа этого не понимает, или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и

дорога...". Или: "Индия? Евреи в Египте? Негры, в Америке? Сколько веков до Рождества Христова? Кто-мы? Где-мы? Когда-мы?". Или: "Странно, такая слабость. Последние дрова. Последний керосин. Есть еще дрова, бывшие чурки, но некому их распилить... Да и пилы нету"... Или: "Возмездие Англии – впереди!" Или: "О нашей жизни нельзя никому рассказать, потому что мы забыли сами (от привычки) основные абсурды, на которых все покоится... Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Россия грубово молчит...". Или: "Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве (профессора, общестественные деятели, женщины). Сегодня 29 – здесь... Опускание тьмы и ямы. Тихого помешательства". Или: "Абсурдно преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается". Или: "Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолилась, изверилась, разучилась надеяться... Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать...". И т.д.

Ты, полная духовных достижений, конечно, не читала "Дневника". Этот "Дневник" полон передержек, но – фон (безнадежность тьмы и на дне тьмы вдруг искра света нездешнего) переданы верно».

Точное название книги: *Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н., Философов Д.В., Злобин В.А.* Царство Антихриста. Мюнхен, 1921. Здесь, а до того в журнале «Русская мысль» (1921. № 1/2, 3/4) были напечатаны «Черная книжка» и «Серый блокнот» З.Н. Гиппиус, где фиксировались события июня–декабря 1919 г., до бегства Мережковских за границу. Однако новейшие исследования показывают, что Гиппиус свои записи при публикации сильно редактировала (см., напр.: *Колоницкий Борис.* К вопросу об источниках «Синей книги» З.Н. Гиппиус // *Русская эмиграция: Литература, история, кинолетопись.* Иерусалим; Таллинн, 2004. С. 23–34).

¹⁵⁹ Речь идет о гибели довольно близких знакомых Белого: братья Астровы – юрист Павел Иванович (1866–1919), юрист и общественный деятель Николай Иванович (1868–1934), профессор Петровской сельскохозяйственной академии Александр Иванович (1870–1919) и публицист (в сообщении ЧК обозначен как «инспектор по финансовой части центрального союза потребителей») Владимир Иванович (1871–1919) – были в числе издателей сборников «Свободная совесть» (М., 1906, 2 вып). Из них были бессудно убиты по делу «Национального центра» А.И. и В.И. Астровы. Помимо того, был расстрелян Борис Владимирович Астров (как пояснялось в сообщении ЧК, «к.-д., шпион Деникина, студент, служащий для поручений при московском окружном артиллерийском управлении»). Викентий Викентьевич Пашуканис (1879–1919) был секретарем изд-ва «Мусагет» и владельцем собственного издательства, выпускавшего сочинения Белого; Юрий Алексеевич Веселовский (1872–1919), переводчик, сын проф. Алексея Николаевича Веселовского; Вениамин Михайлович Хвостов (1868–1920), профессор римского права Московского университета (он не перерезал себе горло, а повесился). Николай Николаевич Щепкин (1854–1919) – кадет, депутат Гос. Думы III и IV созывов, согласно сообщению ВЧК, возглавлял московский «Национальный центр»; Михаил Анатольевич Мамонтов (1865–1920), художник, ученик В.Д. Поленова; в 1900-е стал директором типографии, принадлежащей его отцу, известному московскому типографу А.И. Мамонтову.

¹⁶⁰ Совершенно очевидно, А.С. Петровский.

¹⁶¹ Располагался на нынешней Смоленской площади. У Ходасевича есть стихотворение «Смоленский рынок».

¹⁶² Сизовы – семья друга Белого – физиолога, литератора, известного оккультиста Михаила Ивановича Сизова (1884–1956), среди которых названы его сестра Мария Ива-

новна (1899–1969), писательница, театральный педагог и режиссер, и ее муж (до 1921 г.) Владимир Михайлович Викентьев (1882–1960), историк-египтолог, сослуживец Белого по Историко-Археологическому отделу московского «Дворца искусств».

¹⁶³ В «Воздушных путях»: «григоровского» (т.е. принадлежащего Б.П. Григорову).

¹⁶⁴ Один из отделов Наркомпроса, которым руководила О.Д. Каменева, сестра Троцкого и жена Каменева. В деятельности Театрального отдела принимали участие многие московские литераторы – Юргис Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич и др. См. очерк Ходасевича «Белый коридор» (Собр. соч. Т. 4. С. 241–261).

¹⁶⁵ Васильевы – будущая вторая жена Белого Клавдия Николаевна и ее муж, врач П.Н. Васильев; они жили в доме на углу Плющихи и Долгого переулка (ныне ул. Бурденко).

¹⁶⁶ «(такой казалась Ты, Доктор, Дорнах)».

¹⁶⁷ Вокальный цикл композитора Франца Шуберта (1797–1828) на стихи В. Мюллера «Зимний путь» (1827).

¹⁶⁸ «к Тебе далекой: “Ася, милая, – помолись там за меня!”. (Мне впоследствии не раз говорили: “Как я люблю вашу Нелли, сколько любви вы вложили в этот образ...” (Твой образ в “Записках Чудака”, которые я тогда писал...)).»

¹⁶⁹ «из Дорнаха».

¹⁷⁰ Тяжелая форма гриппа, пандемия которой унесла миллионы жизней по всему миру.

¹⁷¹ «духовные полужсновидящие (есть ведь простое элементарное ясновидение Сочувствия)».

¹⁷² «Твое честное, полное “истины” холодное, рассудительное письмо со справедливыми упреками за прошлое (и нашла же время высказывать свою “справедливость!”) без единого Сочувствия, без единой нотки понимания, что то, в чем мы, выражаясь словами Гиппиус: “О нашей жизни нельзя никому рассказать... Я обвиняю... Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолилась...” Прочел, хотелось вскрикнуть: “Ася, да есть ли в Тебе сердце, – в такую минуту, когда я почти повешен над смертью, – на рассудительных счетах высчитывать мои недостатки в прошлом. Да побойся Бога!”».

¹⁷³ «Но неужели у Тебя не хватило чуткости почуять душой? И <...>».

¹⁷⁴ «И отвернуться всем существом от Дорнаха, чтобы не видеть Дорнаха, забывшего “дорнахцев в несчастье”. А потом, когда уже после 17 месяцев упорной работы над отъездом и проявленной упорной энергии вырваться к Тебе перед последним решительным приступом на препятствия (самый факт 17-месячной работы над отъездом – не страстное ли желание вернуться к Тебе и в Дорнах?) – опять Твоя холодная последняя записка, что Ты меня не зовешь: хотелось яростно воскликнуть: “Ничего не понимают!” А пришлось сухо ответить: Спасибо, еду я не на зов, а по своему делу. Что же? Ты боялась обнаружить свое понятное желание, чтобы человек, так много настрадавшийся, немного отдохнул в атмосфере лекций Доктора? Или – Ты... не хотела (?!)... мне отдыха?!? Не верю. Это было бы уже преступно!»

¹⁷⁵ Берлинская ежедневная газета.

¹⁷⁶ Министерство иностранных дел Германии.

¹⁷⁷ «(человек хочет увидеть того, кого называют его женой после пятилетней разлуки, “жена” же 7 лет работает в его предприятии)».

¹⁷⁸ «рожденного Твоими рассеянными письмами».

¹⁷⁹ «Какой болью мне отдалась Твоя просьба, пересланная какому-то молодому человеку, который писал Тебе от меня осенью 1918 года из Берлина; он передал в открытке, Бог знает как дошедшей, Твою просьбу, чтобы я Тебе немного присылал денег. Ася, сердце у

меня сжалось, ибо это же было абсолютно технически невозможно; так же невозможно, как попасть на луну. С октябрьского переворота пресеклись все сношения с Западом; денежного перевода послать было нельзя технически. Во-вторых: Ты забыла валюту; какиенибудь 50 франков швейцарских стоили не менее 500 рублей русских в то время, а я в эпоху твоего письма получал 1000 рублей, из которых около $\frac{1}{2}$ отдавал маме, т.е. сам жил на 50 фр. в месяц. Что же я мог послать? Не говоря о том, что и послать-то было нельзя; абсолютно невозможно. Уже в одной этой фразе, совершенно справедливой, была бездна непонимания международного положения. Кстати; знаешь ли Ты, что 1 швейцарский франк стоит 22 марки, а 1 марка 600–700 рублей (кажется 700); итого $700 \times 22 = 15,400$; один франк стоит 15,400 рублей, а я получал летом еще на службе лишь 50.000 рублей (конечно, я существовал не службой: служба давала мне право на обед и ужин, потому и служил).

¹⁸⁰ «Ах, Ася! Как невыносимо было выбарахтываться одному; мы переживали такое время, что чем больше семья, тем легче справляться. Вдвоем было бы мне не на $\frac{1}{2}$ легче, а в $\frac{3}{4}$ легче. Но Ты покинула меня в самое критическое время».

¹⁸¹ В публикации Ходасевича – «моя знакомая писательница N», в оригинале имя названо: «В<ера> А<лександровна> Жуковская» (урожд. Микулина, 1885–1956). Подробнее см.: *Жуковская В.А. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине 1914–1916 гг.* // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1992. Т. II–III. С. 252–317.

¹⁸² В «Воздушных путях»: «так я читал, кричал от холода».

¹⁸³ «И – никакого импульса жизни из Дорнаха, никакой нежной поддерживающей улыбки издалека».

¹⁸⁴ Неточная цитата: Мф. 27: 46; Мк. 15: 34.

¹⁸⁵ «Если бы Ты знала,»

¹⁸⁶ «Ася,»

¹⁸⁷ Александр Иванович Анненков – директор Дорогомилловского химического завода, где Белый жил сразу после возвращения из Берлина. «За Москву» – явное преувеличение: завод располагался в 20 минутах ходьбы до Киевского (тогда Брянского) вокзала, напротив Новодевичьего монастыря по другую сторону Москвы-реки.

¹⁸⁸ Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946) – впоследствии писатель и переводчик, в те годы – сотрудник Румянцевского музея.

¹⁸⁹ В «Воздушных путях»: «увез Латвийский – спекулянт».

¹⁹⁰ Среди опубликованных книг Белого таких и на самом деле нет. Возможно, имеется в виду эссе «Лев Толстой и культура сознания» (1920). «Латвийский спекулянт» – вероятно, консул (или, по другим сведениям, сотрудник консульства) Эстонии в Петербурге Альберт Георгиевич Орг (?–1947), одновременно представлявший интересы ревельского издательства «Библиофил». При выезде из советской России в Эстонию часть рукописей у него была изъята.

¹⁹¹ На самом деле – доктор медицины Сергей Иванович Троецкий.

¹⁹² «Если бы ты знала,»

¹⁹³ «Ася,»

¹⁹⁴ «к Тебе и к Доктору».

¹⁹⁵ «Ты? От Тебя нет никакого ответа».

¹⁹⁶ «(не способен думать ни о Тебе, ни о Докторе, ни о Дорнахе)».

¹⁹⁷ «Откровенно говоря не надеюсь Тебя видеть, ибо в Швейцарию мне не попасть (разрешение и валюта); и стало быть, – остается думать о том, как устроить свою одинокую

жизнь в Германии. Я так устал, и вместе так полон своими худ<ожественными> планами (“Эпосей”), что глух ко всему, кроме Доктора и Тебя – никого мне не надо, никакого *Mitt* (-machen, -gefühl и т.д.) у меня; и если я *Mittglied*, то -- я, кроме Тебя, *Mitt* – с оставшимися в России, с антропософскими друзьями Москвы и с “вольфильскими” друзьями Петербурга. Тебя лично я глубоко люблю; но эта любовь – все эти года доставляла одно сплошное страдание; и от этой любви – “ни привета, ни ответа”;

¹⁹⁸ *Ausland* (нем.) – заграница.

¹⁹⁹ «а Ты... Ты тот раздражающий сознание образ когда-то близкого мне человека, который сознательно и жестоко (по-моему) от меня отвернулся в “минуту жизни трудную”. Захочет ли этот образ повернуться ко мне, – не знаю. Свободы его не желаю насиловать и предоставляю этому образу, образу былой “Аси” вести себя относительно меня так, как ему заблагорассудится.

Мне горько невыразимо одно: “отворот” Аси от меня совершился не на основании ссоры или сознательного расхождения, а – вдали пространства, в “письмах” (т.е. в “Ариманических условиях общения”). Письмам я никогда не верил: письма живы; и вот проверить Твой образ, возникающий во мне по письмам, разумеется, хотел бы в личном общении.

Как это возможно, не умею сказать: не вижу отсюда, из Ковно, никаких реальных способов попасть к Тебе».

В «минуту жизни трудную» – из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

²⁰⁰ По данным А.В. Лаврова, в Ковно Белый прочел три лекции: две о стиховедении в Обществе литовских художников и третью – упоминаемую.

²⁰¹ А.Д. Бугаева скончалась в Москве в 1922 г.

²⁰² В «Воздушных путях» далее: «для Литвы». Фрагмент был опущен без указания на купюру.

²⁰³ Юозас Тумас-Вайжгантас (1869–1933), литовский прозаик и публицист, католический священник.

²⁰⁴ В «Воздушных путях» далее: «, “Р о с с и я Б л о к а ”». Фрагмент был опущен без указания на купюру.

²⁰⁵ Упоминаются: Аарон Захарович Штейнберг (1891–1975), философ, публицист, автор мемуаров «Друзья моих ранних лет» (Париж, 1991); Конст. Эрберг (Константин Александрович Сюннерберг, 1871–1942), теоретик искусства, поэт, критик; Михаил Павлович Столяров (1888–1937), философ и литератор; Густав Густавович Шпет (1879–1937), философ; Новомирский (настоящие имя и фамилия Яков Исаевич Кирилловский; 1882 – не ранее 1936), деятель революционного движения (анархист), публицист; Борис Петрович Вышеславцев (1877–1954), философ; Федор Августович Степун (1884–1965), философ, писатель; Василий Васильевич Кандинский (1866–1944), художник, теоретик искусства.

²⁰⁶ Речь идет о Вольной Академии Духовной Культуры. О ней см.: *Вадимов А.* Жизнь Бердяева: Россия. Berkeley, 1993. С. 207–210.

²⁰⁷ *Dreigliederung* (нем.) – трехчленность (антропософский термин).

²⁰⁸ «Григорова дружески попросили уйти из председателей, после чего он поднял “бунт”. Но эта мучительная операция была необходима давно. О-во теперь состоит из председателя (Трапезников), членов Совета (Петровский, Алексей Вас. Сабашников) и *Vorstand'a*, в который входила группа (Я, Сизов, Столяров, К.Н. Васильева, М.В. Сабашникова, отсутствующая: она – в Петербурге); принята программа реорганизации в духе *Kernpunkt'ov*, которые переводятся, (если не переведены). Есть два вводительных кружка (Григоровский и Столяровский); ввод. кружок в Петербурге ведет Сабашникова. О-во там в состоянии

распада; <Е.И.> Васильева и Леман ничего не сумели сделать, а то, что осталось, — по-моему годится на одно: на слом, ибо это не “Antroposophie”, а “Tanten- oder Onkel-tham”. Сам Леман с Васильевой давно в Екатеринославе; Леман теперь возвращается на пепелище им брошенного кружка (ужасно неприятная и не внушающая доверия личность; если не шарлатан, конечно, а — “шарлатанист” с склонностью привираться (мистическому) и интригам; он напустил столько “окультизма”, что приходится открывать форточки».

Vorstand (нем.) — правление. Упоминаются: Трифон Георгиевич Трапезников (1882–1926), искусствовед, близкий друг Белого; Алексей Васильевич Сабашников (1883–1954), брат М.В. Сабашниковой; Маргарита Васильевна Сабашникова (в замуж. Волошина, 1882–1973), художница; Васильева (в отличие от К.Н. Васильевой) — Елизавета Ивановна (урожд. Дмитриева, известна также под псевд. Черубина де Габриак, 1887–1928), поэтесса; Борис Алексеевич Леман (1882–1945), поэт, писавший под псевдонимом Б. Дикс. Kernpunkt — руководящие указания, инструкции; имеются в виду руководящие указания Р. Штейнера. Tante в переводе с немецкого — «тетя», «тетка»; Onkel — «дядя»; tham — распространенный суффикс. По мысли Белого, это не «антропософия», а «тетство или дядство».

²⁰⁹ См. в очерке М.И. Цветаевой «Пленный дух».

²¹⁰ Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929) — художник, издатель, владелец «Издательства З.И. Гржебина», действовавшего в послереволюционные годы в Петербурге и Берлине.

²¹¹ Имеются в виду: Сочинения Державина, с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864–1883. Т. 1–9.

²¹² Вольфганг Э. Гререр (1882–1950) — переводчик русских поэтов на немецкий язык. См.: Werner X. Der Übersetzer W.E. Groeger // Wiener slawistisches Jahrbuch. Wien, 1984. Bd. 30. S. 155–165.

Подготовка текста Е.В. Наседкиной, комментарии и послесловие Н.А. Богомолова